

The image shows a rustic wooden window frame set into a wall of weathered wood. The frame is made of dark, greyish-brown wood with visible grain and knots. The wall is made of horizontal wooden planks. In the center of the frame, there is a white rectangular area containing text. Below the white area, the window opening is visible, showing a dark interior with a single red apple and a piece of dried, gnarled wood resting on a wooden ledge.

владимир липилин

# Бабушка и КОСМОС

# Владимир Липилин

## Бабушка и космос

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=28738685](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28738685)*

*SelfPub; 2018*

### Аннотация

Повесть о бабушке, жившей в умирающей деревне, куда мы приезжали на летние каникулы. О бабушке, которая умела водить автомобили вплоть до «Урала», обсуждать (и даже горячо) перипетии российского и канадского хоккея, поить наседку из чайной ложки самогоном, чтобы та приняла в семью чужих, инкубаторских цыплят, иногда собирать всех оставшихся в деревне старух для игры «в мяч». И чувствовать, ощущать, конструировать вокруг себя самый настоящий космос.

## Чемодан весны

Как только бабушка приезжала к нам, сразу же и наступала весна. Она утверждала, что эту весну в чемодане возит.

– Вон он какой у меня.

Я пялился на рыжий чемодан с разными наклейками на ненашем языке и переспрашивал:

– Какой?

– Внушительный. Туда вся моя жизнь помещается. Не то, что весна.

И правда, чемодан нам казался бездонным. Кроме (как называла бабушка) «шаблов», там лежала в теплых шаях алюминиевая кружка, несколько рыбацких колокольчиков, стекло от керосиновой лампы, завернутое в слои грубой бумаги; три или четыре карабина для альпинистских снаряжений. Соответственно, моток самой верёвки с сердечником... В картонной коробке ждали спокойной воды убийственной красоты поплавки, которые даже в руках держать было немислимо, словно это перья какой-нибудь диковинной птицы. В целлофане – свинцовые грузила, отлитые в столовой ложке с проделанной дырочкой, резинки для донок, узенькие дощечки с намотанной леской, пассатижи.

– А пассатижи-то для чего? – интересовался отец, стало быть, ее сын, глядя как она наводит в малиновой изнанке «шик».

– Сгодятся, – уклончиво отвечала бабушка. – Вот, к при-

меру, еду я раз в поезде, а там парочка распутная заперлась в туалете, чо уж они там делали? Поди-ка даже и целовались. Фу. Никакого пространства, антисанитария одна. А потом выйти не могут, голосят... Проводница подошла, ключом своим рогатым – тыр-пыр. Шиш! Не поддается замок. А тут я как тут со своими пассатижами, чуток ущипнула, провернула – шварк и открылося. Люди спаслися.

Все это добро бабушка закупала, путешествуя зимой по детям и прочей родне, готовясь к летнему рыболовному сезону.

Иногда вместе ходили с ней в магазин «Рыболов-охотник». Что-то докупить, взять впрок. Она шныряла, лихо лавировала среди плечистых мужиков рыболовов и охотников. Продавцы сперва относились к ней с некоторой издёвкой.

– Есть тройник однёрка, милоч?

– Тебе, бабуль, зачем?

– На сома, – простодушно говорила она. – Лется взяла одного, ростом чуть поболее тебя. И что характерно – прям за брюхо взяла, толстое, вот что у тебя.

Или повертит в руках спиннинг и скажет:

– Хороша вещь.

Нюхнет и удивится:

– Вишневый.

Затем бережно водрузит на место:

– И все равно баловство.

– Бери, баушка, – скажет, как ребенку, продавец.

– Не, парень. Не бабское это дело, скушно. Пробовала на Оке. А в траве старик сидел, я его не видала. Размахнулась и прям за ухо его. А ухо у него большое, как лопух. Он кричит, а я не пойму, в чем дело, дёргаю, тяну. Он как вышел с ухом этим малиновым и блесной моей. Я прям обомлела. Да и арашек, поди, опять полный позем будет. (Арашками она звала колорадских жуков). Когда мне с удочкой-то? Хошь и с такой волшебной. Я по-деревенски «телевизоров» (сеток под названием экран) наставлю, морды две штуки есть. А к осени мотыгой наловлю, – ввергала она в полный ступор продавца.

– Как это – мотыгой? – уже не ухмылялся тот.

– Очень просто, – обозревала бабушка накомарники. – Есть у нас в деревне два озера. Глыбкое и не очень. По весне они сообщаются по лощинке такой вот, из глыбокого тогда караси и переплывают в то, которое не очень. Летом-то я огород из него поливаю, а к августу воды, что в блюдечке остается. Коровы, лоси приходят напиться. Оставляют «копытца», ну, ямки. В них влага и задерживается. А карась-то он живучий. В этих ямках сколь угодно существовать может. Ну, вот я беру мотыгу, лукошко и иду. Буздык в одно «копытечко», шмяк в другое – жарёха готова. Приезжай, мил человек, и на твою долю хватит.

Не помню, оставалась ли она довольна произведенным на здоровенных мужиков эффектом... Или просто уходила. Единственное место, где она могла молча простаивать часами, был отдел мормышек. Бабушка смотрела на них зачаро-

ванно. Думала о чём-то.

В тот вечер, когда мы совершали поход в магазин, мама подарила ей новенькие резиновые сапоги. Бабушка надела их, сидя на табуретке, повертела ногами, издавая приятный скрип.

– Ты, глянь, с зайцами.

Сапоги и впрямь отбрасывали по стенам и потолку теплые, мягкие блики – солнечных зайчиков.

Бабушка благодарила, и улыбалась:

– В таких сапогах и замуж не стыдно.

А потом произносила мне шёпотом:

– Как договаривались. Уходим чуть свет на первый автобус. Отцу я намекну. А в школу я тебе потом каку-нть записку настрочу.

Правда, писать она вообще не умела.

## **Абсерватория**

Дед Куторкин пришёл к нам за лестницей.

– Все, – сообщил он. – Баста! Обсерваторию буду строить.

Бабушка аж поперхнулась, закашлялась в сенях. Там она жарила утрешних карасей, и не просто так жарила – пыталась добиться корочки.

– Где ж ты этот, – сирым после кашля голосом произнесла, – скоп-то возьмешь?

Представление о том, что такое обсерватория бабушка уж худо-бедно имела.

Она, конечно, не сомневалась, что все создал Бог. Но была порой не прочь выслушать и иную, научпопную точку зрения. Поэтому вечерами внимала умным передачам из приемника «VEF».

– Где-где, – бубнил дед Куторкин, и смахивал с рукава пиджака полосатого (как арестант) колорадского жука.

В жирном солнечном пятне сидел, качался, ронял голову, разомлевший после ночных дебошей кот. Жук упал точно под нос ему. Кот ловко подцепил лапой, пожевал, хрустнул да и выплюнул. Жук на всякий случай притворился, что совсемдохлый.

– Как где? В чулане, – всполошился дед. – Прошлой весной, на мое рожденье Ферапонт приезжал. Ферапонт, священник. Ну и подарил. Головастый мужик, я тебе скажу.

– Он-то головастый, да у тебя нападанные листья там. Накой он тебе сдался? – подлила бабушка масла в карасей.

– Да я трижды ударник социалистического труда! – парировал дед.

– Вопросов нет, – сдерживаясь, как можно спокойнее, сказала она. – Только не забывай, что Манька, залётка твоя, председателем колхоза была.

– Ну так-то да. Но щас не об этом. Подарил мне Ферапонт телескоп-то. Говорит – на, Степаныч, гляди на звезды, достигай этой, как её, гармонии с миром. И вот третьего дня

так мне в ухо шибануло и стрелят и стрелят. Наверно, себе думаю, с гармонией это самое, не того. Позвал Витьку Кутя, он по бумажке этот телескоп вмиг одолел. А чего ему, он вон Ка-700 до винтика в соседнем колхозе разобрал и в телеге перевозил. В свой колхоз. Ну, слыхала же, газеты писали. Правда, потом отсутствовал в доме года два.

Собрал, значит, и говорит: площадка нужна крепкая где-то на высоте. Чтоб окуляр дрожь земли не колебала. Мне опять кэээк в ухо шарахнет: эврибаден! амбар! Крыша-то у него земляная. Вся только лишь вот полынью заросла.

Я и решил: табуретку туда поставлю. И будет у меня там – вообще атас.

Астрономом, ясен пень, не стану, но хоть шею разомну. И это... ну, гармония придет. Куда денется?

Дед Куторкин сунул руку меж поперечин лестницы, повесил её на плечо, и ушёл.

Бабушка даже вышла на крыльцо посмотреть ему вслед, вздохнула так полушёпотом:

– Полный звездец.

Водрузил Витька Кутяй телескоп деду на крышу. А потом случилось вот что.

Три дня он был сам не свой. Светил фонариком в карту, прикинул к окуляру. Затем прыгал и кричал что-то вроде: мать твою, Кассиопея!

На день четвертый упросил мужиков перенести туда старую панцирную кровать, обеденный стол. И вообще не сле-

зал.

А на шестой день, наконец, обнаружил искомую Бетельгейзе, и даже показалось, что в туманности мелькнула Конская Голова, о которой астрономы спорят до сих пор.

И так прыгал, так скакал по крыше, что она возьми да и провалилась, вместе с ним, с телескопом, табуретом и кроватью. И что удивительно, никому ничего не повредив.

Дед не закручинился. Подумал, подумал и амбар, не ударив палец о палец, превратил в нужник. По – научному говоря, туалет.

Мы с бабушкой чистили колодец, когда Куторкин явился с лестницей.

В этот момент подъехал на «уазике» племянник деда. Он принес ему нечто завернутое в тряпицу.

– Степаныч, ты просил прошлый раз, когда звонил, табличку отчеканить. Я, правда, так и не врубился, нафига она тебе?

Дед развернул ткань, на мягком металле было выдавлено: Абсерватория. Прямо так, через «А».

Он быстро запахнул её, укоризненно поглядел на племянника, плюнул, и, уходя, сказал кому-то в пустоту задумчиво, без эмоций совсем:

– Козлина. Альдебаран.

Но потом вроде бы даже и развеселился. И табличку, куда надо, то есть, на туалет приколотил.

## Бабушка и космос

– А вот, например... фокус-покус, – патетично произносил дед Куторкин и снимал свой с покоцанным козырьком картуз. По обыкновению, там сидела какая-нибудь великолепная жаба. Или разноцветная ящерица.

А в этот раз – лупил лубошные zenки несуразный кукушонок. Птенец потянулся, взмахнул тщедушными крыльями, зевнул и покакал.

– Какой же вы гад, – почему-то на «вы» обратился к нему дед. Положил кукушонка на траву и пошёл за лопухом.

Мы с братом Михой птиц любили. И бабушка тоже.

Когда по весне у грачей выпадали из гнезд дети, бабушка откапывала в сундуке свою альпинистскую амуницию. Пояс, карабины, веревки, даже ржавые кошки на обувь. Я складывал в рюкзак тех грачат, и лез меж сучьев. Бабушка потихоньку травила, пропускала канат через ладонь и локоть. Страховала. Было до ужаса страшно и, конечно, восторженно.

Почти каждое лето в доме у нас объявлялись то щеглы с переломленной лапой, которых бабушка латала синей изолентой, то совы, то воробьи, то коршуны. Последних бабушка лечила, а потом стреляла в них из винтовки ТОЗ, если те начинали воровать цыплят.

Однажды квартировал даже орёл-могильник, сбитый машиной на большаке. Дня три он оклёмывался, шипел, ноча-

ми сваливался с печки, как картонный, бился в образа (там всегда тлел огонек в лампаде), потом был отпущен. Многие не выживали, потому что не любили жареную картошку с опятами и овсяное печенье.

Мы плакали и хоронили их в огороде. Ставили из палочек, скреплённых проволокой, крестики. Миха даже ел землю и клялся, когда вырастет, станет «зверьяческим врачом». (В 90-е он стал акушером и завел себе вОрона).

У бабушки был, как она говорила, «ЗАпор». Такой чурбак на колёсиках. Газ на руле, вместо сцепления – рычаг. Тормоза отсутствовали вовсе. Да и зачем в полях и деревне где всего-то шесть жителей тормоза? Бабушка летала на нём точно фея – шлейф из жёлтой пыли. Останавливалась об ветлу.

И вот после Троицы она привозила из инкубатора жёлтеньких, пушистых и совершенно безмозглых утят. С этого времени нам с Михой надлежало за ними бдить. Нам вручался радиоприемник ВЭФ, нет – VEF и мы, как новоорлеанцы или даже афроамериканцы, с музычкой на чьём-нибудь плече, топали к озеру, пританцовывая и кобенясь.

Утята, выведенные методом тепла спецлампы, были квёлые, бабушка звала их «шибздиками», но на деле все было печальней – то в траве запутаются, то лягушонком подавятся, то чуть не взлетят вместе со схваченной за хвост стрекозой. А мы их от этого сберегали.

Ну как сберегали? Минут двадцать. Потом становилось нудно, скучно и мы углублялись на чердаки заброшенных

домов или в поля за горохом. Когда возвращались, какой-нибудь из питомцев уже беззвучно открывал рот, опутанный нитями трав, и вид имел чрезвычайно синий.

Тогда мы хватали его и мчались к дому.

Миха врубал электроплитку, а я тащил чугунную сковородку. В неё мы и клали почти окочурившегося утенка. Чудо творилось прямо на глазах. Минуты через две он мало-помалу приходил в себя. Вставал на ноги, начинал испуганно цикаать. А через три – уже пританцовывал. Мы были невероятно горды этим спасением, хлопали в ладоши и орали в такт:

– Ты-ды-ры-ты-ры-ды-ты! Ты-дыры-ты-ры-ды-ты! Йе-эх!!! Асса!

– Смотри как радуется, что жив остался, – перекрикивал себя Миха, брал в зубы нож и пускался в пляс. У него выходила какая-то идиотская лезгинка.

– Может, ему горячо? – интересовался я у старшего брата.

– Не, – отмахивался тот:

– Ты-ды-ры-ты-ры-ды-ты! Ты-дыры-ты-ры-ды-ты! Йе-эх!!! Асса!

Заканчивалось всё тем, что приходила бабушка и разгонила нас.

Однажды из того же самого таинственного заведения под названием «Инкубатор», она приволокла целую картонную коробку цыплят. Первые дни они обитали на подоконнике, отгороженные доской. Ходили такие – руки за спину как у парторгов. И в этой вот позе прыгали за мухами. Пройдош-

ные мухи нарочно крутили у них перед носом мёртвые петли, притворялись ранеными, потом висели вниз головой на потолке, потирали свои липкие ладони и дразнились.

Дня через два пришла пора выпускать цыплят в мир. Однако наседка – дутая пестрая курица – принимать их в своё благородное общество вовсе не торопилась. Она их нещадно клевала. Цыплята перемакивались от ударов таких через голову в пыль дороги и, ничего толком не понимая, моргали, лезли опять. Тут вступал вечно понтоующийся на заборе – перья с переливом – петух. Он издавал угрожающие, курлыкающие звуки. Летел выставив голову вперед, как эмблема на мотоцикле Минск, и тоже клевал, пинал их, пытался порезать шпорами. Полсануть.

Бабушка называла петуха плохим контрацептивным словом.

Мы знали это слово, но не улавливали с ним ни малейшего сходства.

Петух же словно обладал пониманием некоторых человеческих лексем, тряс гребнем, орал с забора, высказывал массу назревших возражений, что мол, он не такой.

Бабушка что-то обещала ему в таких случаях, то ли бошку отсечь, то ли ингредиентом сделать. Неразборчиво.

А вечером, когда пролетела над вёглами цапля и крикнула, бабушка сунула в карман фартука початую бутылку самогона, чайную ложку и сказала, чтоб мы собирались на дело.

Слово «дело» нас вдохновило, и посеяло внутри холодок

вперемешку со шпионской тайной.

Во дворе было темно, но предводительница наша намеренно приспособила себе на лоб фонарик. Щёлкнула им и стала похожа на единорога. Тугой луч шарил по брёвнам, затыканным мхом, пока не уперся в насест. А на нем в петуха.

Бутыль и ложку бабушка отдала Михе.

«Потому что ему уже десять, – подумал я, – и он курил за амбаром репей».

Петух сощурился – хватить худющая, но цепкая рука его за шею, прижала к груди и командует:

– Держи клюв, держи клюв!!!

А как держать, если он этим клювом как шашкой машет?

– У-у-у недотёпы, – ворчала она, садилась почти верхом на петуха, одной рукой подхватывала под крылья, поднимала, надавливала пальцами на костяную пасть.

– Наливай в ложку.

Миха нацедил, булькнул, изловчился и влил, петух сперва так сморщился, кашлянул, заперевирал лапами, словно чётко осознал: яду дали. Михе влил ещё.

Петух зачавкал.

Бабушка опустила его под ноги и ускорила путь пендалем:

– Пляши, дрыщамон!

Такую же вакханалию мы проделали затем и с наседкой.

Я по темноте сбегал ко входу за цыплятами в коробке. И пока наседка чинно усугубляла, мы подсунули в корзину, служившую гнездом чужих, пришлых, и накрыли пьяной ку-

рицей. Наседка долго ворчала, скандалила. Бабушка погладила её по голове и усмехнулась с некоторой нежностью:

– Дурища моя. Утром проснёшься – вот ошалеешь.

А так и было. Мы с Михой вышли на росистое крыльцо – наседка ходила, а за нею все, все, все. Петух, найдя червяка или букашку, устраивал кипиш, клокотал, бил крылом и танцевал, исполнял по кругу ритуальный танец под названием – какой я молодец. Цыплята, чудно вытянув шею, мчались наперегонки. А он косился, задумывался на мгновение, встряхивал своим гребнем: да ну нафиг, неее, почудилось. Вскакивал на забор и голосил.

И только дед Куторкин, узнав подробности, заливисто, тоненько хохотал. Бабушка подначивала его, мол, небось, жалует, что не знал об этой нашей затее.

– Ну не, до этого я ещё не допился, – возражал он. – Чтоб с петухами бухать.

Прошло несколько лет, а мы все так же возвращали в гнёзда на ветлу у озера птенцов. Как-то в этот самый момент проходил мимо Куторкин. Рядом он вёз велосипед. На руле болталась авоська. Ветла цвела и столько было вокруг пчел, пахло мёдом и такой счастливой впереди летней жизнью. И вдруг старик как заржет.

– Степаныч, – обернулась бабушка, ты буздыкнул, штоль, уж с утра?

– Я тут че подумал, – отсмеявшись, сказал дед. – Внук-то у тебя вон уж колбьяк какой. Допустим (не дай боже, конечно)

он сорвется. Ну, так сказать, гипотетически. Ты ж со своей этой верёвкой (гы, гы, гы) – в космос уйдешь.

Я представил это настолько явно, аж нога соскочила. Раздался истошный крик, как будто не мой, секунда полёта и я стопорнулся, сложился пополам в страховочном поясе. Стал крутиться.

Бабушка внизу мгновенно и ловко перехватила верёвку, быстро увязала ее себе на руку и как в перетягивании каната, тормозила. Ехала в галошах по новой траве, упиралась.

И все, все, все – дали, едва оперившиеся поля, сады, огороды и облака крутились у меня в глазах. Было дико страшно и захватывающе красиво.

Бабушка пыхтела, дед Куторкин, неуклюжий как цапля, на своих длинных (в кирзовых сапогах) ногах спешил ей на помощь и бубнил:

– Космонавты, йо! Целая деревня космонавтов. Один я нормальный остался.

## **Заяц Беня**

Дед Куторкин пришёл к нам в гости и воздушного змея с собою привел. На ниточке.

Змея он привязал у крыльца за гирию, служившую в разных хозяйственных нуждах, гнетом. И тот реял на ветру, как флаг неизвестного государства. Дед потопал у входа, будто уже выпал снег, шмыгнул носом.

– У те пятерка есть? – без обиняков спросил, в лоб.

– Ты ж вчера лыжи продал, – бабушка мотала в клубок шерстяные нити. Под ногами выплясывали, изгалялись друг перед дружкой два веретена.

Куторкин опять шмыгнул носом.

– Деньги – не проблема. Я про патроны. Ну, точнее, про дробь.

Бабушка привстала с сундука. Порылась в слоях шаблов и выудила узелок. Там лежали гильзы и производили друг об дружку приятный звук.

– На кабана двинешь?

– На лося, йо, – психанул на подколку дед. Но тут же и забыл. – Заяц, е-пэ-рэ-сэ-тэ. Что коза твоя. Точь-в-точь. По размеру. Один в один.

– А вот так не делат: – беее? – рассмеялась бабушка.

– Да иди ты, – махнул рукой.

– Ээ, болезный, патрончики-то. Трех хватит?

– Вполне, – набрав побольше воздуха, чтоб грудь стала колесом, произнес он. Однако не вышло. Дошел до порога и вдруг рассмеялся:

– Слышь. Вчера гляжу, Нива ко мне вся заляпанная подъезжат. Под окна. Охотники, сразу допетрил я. Вот у кого патронами можно разжиться. А они пьянущие в дым, коленки то и дело подгибаются, как шарнирные. Я вышел. Не видал ли ты, отец, спрашивают, тут одного чудилу с ружьем, на нас похожего? Три часа его по всем болотам, гада, ищем. Как сквозь землю. Только вымокли все и упились. Не-ее, гово-

рю, ребятки. Может, с дороги чаю? Для чего, говорят, нам твой чай, у нас водки полный багажник. И хотели мне уж бутылку дать. Я как замашу руками, не-не-не. Я ж в завязке. (С напором бабушке) – Чо, правда! Смотрю, а в машине-то сапог торчит, чуть шевелиться. А от сапога нога ведёт. Себе думаю: наверняка к туловищу. Оказывается, пока они ходили, он вернулся в машину, уснул и упал меж сиденьев. Завалился. А они вот его ищут. Така ботва. Я тебе там змея привел, сказал дед уже мне. Норовистый!

Дед запахнул фуфайку со штампом на груди. В прямоугольном этом лейбле содержались буковки. И цифры. «ЖХ-385» через косую черту ещё какие-то иероглифы и имя Пужайло. Ф. У нас у всех были такие фуфайки (места не столь отдаленные пролегали километрах в 30, рядом). Бабушка ходила под фамилией Уланов. Д. Миха имел позывной Щипачев. И только у меня одного была маленькая, женская с фамилией Журавлева. Н.

Я часто думал про неё. Про Журавлеву. Эн.

– Короче, – завтра приходите. Будем из того зайца уху есть.

Дед Куторкин был громогласный, но простецкий, смешной. И рукастый. Всяких воздушных змеев клеил, учил из берёзовых веток сооружать красивые (домиком) лачуги. А ещё он слыл в той местности самым козырным мастером охотничьих лыж. У окрестных мужиков они ходили под негласной маркой «йондал». «Молния» по-мордовски.

Мы с Михой много раз увязывались с ним за заготовками, из которых он потом делал болванки. В роще дед бродил во-круг деревьев, стучал по ним ладонями, слушал кроны, буд-то они могли ему что-то сообщить, шептал. А когда находил годную, радовался и целовал их.

Когда в одном из фильмов прозвучала песня Никитина «Я спросил у ясеня», мы с Михой ни минуты не сомневались, что написана она была специально про деда Куторкина.

Делать заготовки он отправлялся с двухрушной пилой. Ручки между собой у неё были перетянуты бечёвкой, чтоб не гуляли. Затем он клянчил у кого-нибудь клячу, привозил столбушки к дому, полюбил, счищал кору. Вез на пилораму и делал там «досточки». Клал их в амбаре на ровный пол под внушительные камни. И там они зрели.

А уж дальше – рубанок и ладони, какой-то отвар, в кото-ром он те лыжи «варил», загибал, обивал лоснящейся, вор-систой шкурой. И так пар десять. А список в его маленьком блокноте все не заканчивался.

По первому снегу, когда подваливало, и воздух казался подслащенным, приходил блаженный Ваня. Сам приходил, никто не звал. У себя в голове и у деда он числился испыта-телем лыж.

По свежему, как скатерть перед праздником, снегу лыжи свистели, сами почти везли.

– А? Летят! – радовался дед. – Как стрижи летят.

Ваня приезжал, запыхавшийся, лыбящийся.

– У засеки оленя догнал, – одно и то же вечно врал он. –  
Еще бы чуть-чуть и «пумал» за рога.

И без перехода к Куторкину.

– Дашь ключ?

Ваня почему-то любил разные ключи. От замков, гаечные. Но в особенности велосипедные, семейные, где было много отверстий для разных диаметров. Хотя открывать и ремонтировать, ему вовсе было нечего.

Охотником же дед слыл никаким. Всю жизнь в деревне прожил, а бошки курам жена Маня рубила. Он один раз попробовал, положил на пенёк шею её, глаза закрыл и себе по коленке. Эту бы небоскребность да записать, а потом филологам на сковородочке, но тогда казалось, все так умеют.

Каждый день небо как будто по стеклянным бутылкам разливали. Такое оно было прозрачное. Я ходил по крепким подмёрзшим проселкам. Ромашки меж колеями казались ненастоящими, кондитерскими, с сахарком. И дали. Такие были дали. Будто человек. У которого кто-то умер, ушёл, а он потом долго бился в истерике, жалел усопшего, жалел себя, кривил лицо, плакал. А теперь нечем. И в сердце тихая музыка. Точно ехал где-то железнодорожный состав, вез цистерны залитые блюзами. Потом с рельсов сошел и разлился теми блюзами по простору.

Подробности охоты дед приносил как записи полевого дневника.

– Зарядил винтарь. Вышел. Нету зайца моего. Так и про-

ждал до полуночи.

На второй день он сообщил, что будет поджидать зайца в хлеву. Мол, есть у него маленькое, у самого пола оконце, через которое давным-давно навоз выгребали. Что постелит туда соломы, а снаружи, со стороны поля ячменя подсыплет. Так что – неделю пировать будем.

Потом пришел и с каким-то удивлением даже сказал:

– А зайцы, собаки, умные. Пока я караулил его с поля, он обошёл хлев и вдоль стенки к ячменю подкрался, сожрал все, «горошки» оставил. На мол, Петя, кури. Иль в самогон добавляй. А чоо? Я пробовал – любопытный, скажу вам, букет. А я ждал, ждал, безмозглый. Вижу подходит ко мне, огромный такой, тербит за плечо и говорит: Мужик, а мужик. Все зайцы в белом.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.